

Письма патриция

Мои любовницы,
смываю с вас божественную позолоту.
Вы не ушли, вас намотало на зубчатый вал времени
за легчайшие ажурные чулки.
Вы растворились в бескрайних ночах прошедшего,
как жемчужины в чашах с лунным вином.
Вы бережно или небрежно ухаживали за мной,
самозабвенно ласкали медную лампу Аладдина,
не ведая, что некоторые желания накрывают всю нашу жизнь,
как облако саранчи — кукурузное поле и небо над полем.
Вселенная разжимается, точно гармошка царя Гороха.
Мне было хорошо с вами, но и без вас неплохо.
Спасибо, что в суровые зимы вы были со мной —
украшали горностаевыми мантиями голого короля.
Я щедро отблагодарю вас.
В реальности Мона Лиза стареет и на холсте,
шедевр исподволь превращается в старуху.
И бородавки, как репа, проклеиваются сквозь засохшее масло.
Что же делать? Проклинать Леонардо?

Лаская ваши текучие песочные тела —
(похожие на макеты пустынь в парижском музее,
масштаб: один сантиметр — сто поцелуев),
я грежу о лирике, которой наполню вашу виолончельную пустоту.
Я построю великую башню из стихов —
похожую на шахматную доску, скрученную в бараний рог,
с балконами, с ревущей от ветра вершиной,
вершина присыпана солью, как снегом,
и крылатые олени из Швеции слетаются на солончак.
И вы будете жить в стихах, никогда не старея.
Каждой достанутся лучшие платья метафор, сравнений,
только не деритесь, не выцарапывайте друг дружке глаза.

Я поэт, и пустота женщин принадлежит мне по праву.
Старинное, зачитанное до дыр, письмо
с признаниями в любви молодого патриция
лежит у каждой девушки под подушкой.
Я ухожу от вас, мои красотки.
Я вырыл ров вокруг замка личной жизни,
налил дождевой воды и запустил крокодилов.
Такой себе индийский раджа
с пятнышком белым от зубной пасты на лбу.
Переписал все сокровища сердца на любимую жену
(пусть не знает о том, что я спрятал в офшоре).
Прощайте же, красавицы,
с самого детства рисующие сами себя,
сами себя медленно пожирающие,
ибо бог красоты терпелив, но прозорлив.
Жестокая, умасленная маслами змея
с тугим золотым ошейником.



Люблю, когда она, сидя на корточках,
клатает пультом телика. Она одета
в мой махровый халат, нагая под халатом,
как Венера. А я медленно подползаю сзади,
ехидный змей с волосатой грудью,
и рука ныряет под халат, и ощущение
беззащитной плоти приятно бьет по нервам —
но не как удар током или глоток алкоголя,
а как если ты поймал рукой настоящую рыбу,
бархтаясь в море. Вот он — волк в овечьей шкуре.
Я целую ее в шею и отчетливо слышу:
ее глаза нехотя отклеиваются от экрана,
точно липучка, хотя тело уже давно
повернулось ко мне всеми своими
сексуальными пустынями кожи и джиннами ожидания.
Я гашу звук пультом,
оставляю изображения плясать по нашим телам,
словно мы экран из спаривающихся змей,
а по экрану крутят старинный трескучий кинематограф.
И мне все равно — новости ли, футбол,
шахтеры ли, толпы погибших, плачет Изольда
или Мария. Убьет ли героя молния или Терминатор.
Все это иллюзии — как и все человечество.
Есть только я, мы и те, кого я захочу
узнать поближе.

Витрувианка

Так спелость переходит в гниль
по темным коридорам увядания. Фрукт обречен.
Наш роман — сюрреальный натюрморт
из персиков, клубники, гвоздодера и вольфрама
останется незавершенным...
Увы, мы временщики своей же жизни;
дни приближаются и отдаляются,
как станции наземного метро, и мне пора
переходить в вагон напротив. Прости.
Ты будешь вспоминать меня,
лежа на потолке, раскинув руки-ноги по-витрувиански,
переваривая вкусную кровь в нежном желудке.
А был ли мужчина? а был мальчик?
На шарнирах, веселый и brutальный —
косолапый медведь на пчелином дворе.
Я заберу с собой шампунь от перхоти — он в волосах,
и черный зонт-стервятник твоего б/у мужа.
Я не вернусь к ужину
возбужденным ястребом с разорванным ужом
и бисквитным печеньем (как же ты его любишь...).
Последнее прикосновение к тебе.
Я снимаю кожу с руки и бросаю ее в пламя камина
как перчатку, а освеженная рука
торчит жилистой красной веткой коралла.
Слепая цыганка не врала.
Все, что было между нами, переходит в фантомный ряд.
В каждой бывшей любовнице
есть немного места для любовницы будущей.
Это эстафета сердец в никелированных мисках
под стеклянными колпаками.
Вот я держу в руках маленького крокодильчика —
нашу разлуку. Держу за хвост и за тонкую пасть:
глаза выкачены, мутно-салатные, сонно-злые...
Прости, но я не дам укусить себя на прощанье.



Она томно лежит на диване,
мается от нечего делать,
ее тело медленно вьется и крутится
виноградной лозой вокруг натянутой проволоки
одиночества —
от звонка подружки до щелчка СВЧ —
разморозилась курица.
А родители будут поздно вечером.

Ей все чудится и мерещится
принц с белоснежной улыбкой на белом пуховом коне,
моложавый плейбой с букетом роз, синее море
или задымленный танцпол ночного клуба,
и она видит себя со стороны — танцующая, змеящаяся,
ее зыбкое тонкое эфемерное тело
прокалывают набыченные блестящие взгляды.
Булавки прокалывают живую бабочку,
а ей хоть бы что, ей даже приятно.
Ее незаметно окутывают мягкие пахучие сумерки,
разумная роза царапает простыню коготками,
потягивается, и я слышу, как в ней лениво кричат
сто тысяч выкупанных кошек. Сто тысяч кошек Эдгара
замурованы в ватной стене тишины.
Первая женщина на планете —
она лежит в полутьме на диване,
и так лень жарить курицу, а грезы,
словно громадные бабочки с клыками,
сладо страстно и вольно парят вокруг нее,
и от непристойной мечты идет пар,
как из пасти лошади зимним утром.
Эротический ужас.

